



В. М. СТАНЮКОВИЧ

МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ

К.М.Станюкович. «Морские рассказы» //Издательство «Юнацтва», Минск, 1981
FB2: "Ustas ", 2006-08-04, version 1.0
UUID: 9DC0AEF9-2CD7-471E-9DF5-116B5457FC76
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Побег

(«Морские рассказы» #0)

Содержание

#1	0006
I	0006
II	0012
III	0020
IV	0031
V	0041
VI	0048

**Константин Михайлович
Станюкович
Побег
Из цикла «Морские
рассказы»**



Васенька (папыч) и Максим-фрагменты.



Солнце быстро поднималось в бирюзовую свысь безоблачного неба, обещающая жаркий день.

Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем заштилевшие, приглубые севавтопольские бухты, далеко врезавшиеся в берега, и стоявшие на рейде многочисленные военные корабли, фрегаты, бриги, шхуны и тендера прежнего Черноморского флота, и красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра и сверкавший своими фортами, церквями, домами и домиками слободок среди зеленых куп садов, бульваров и окрестных хуторов.

Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.

На кораблях давно уже кипела работа.

К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольской вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота.

С раннего утра тысячи матросских рук тер-

ли, мыли, скоблили, оттирали или, по выражению матросов, наводили чистоту на палубы, на пушки, на медь — словом, на все, что было на палубах и под ними, — до самого трюма.

Давно работали в доках, адмиралтействе, и разных портовых мастерских, расположенных на берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная «Дубинушка», при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна.

Опустели и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях и, словно прокаженные, вдали от других судов, в самой глубине корабельной бухты.

Это — плавучие «мертвые дома».

Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских рот, с четырех часов уже разведены по разным работам.

В толстых холщовых рубахах и таких же штанах, в уродливых серых шапках на бритых головах, они прошли, звякая кандалами, несколькими партиями, в сопровождении конвойных солдат, по пустым еще улицам и

возвратятся домой только вечером, когда наступит прохлада и весь город высыплет на бульвары и Графскую пристань.

И тогда во мраке чудной южной ночи эти блокшивы замигают огоньками фонарей, и среди тишины бухты раздадутся протяжные оклики часовых, каждые пять минут один за другим выкрикивающих: «Слушай!»

Проснулись и слободки, окаймлявшие город, с их маленькими, белыми, похожими на мазанки, домами, населенными преимущественно семьями отставных и служащих матросов, артиллерийских солдат, казенных мастеровых и вообще бедным, рабочим людом.

Рынок — этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты, — давно кишел народом.

Шумные и оживленные кучки толкались между ларьками, среди мясных, телячьих и бараньих туш, кур, уток и разной дичи, среди массы зелени и разнообразных овощей юга, гор арбузов и пахучих дынь и множества фруктов, привезенных из ближних садов. Торговали, кричали и сердились. Тут же делились последними новостями и сбывали поно-

шенное платье и старую обувь.

У самого берега бухты стояли рыбацьи суда соседнего городка Балаклавы со свежеею рыбой. Какой только не было! И камбала, и скумбрия, и жирная кефаль, и бычки, и маленькая золотистая султанка, которую лакомки считают за самую вкусную рыбу Черного моря. Только что наловленные устрицы лежали в корзинах и предлагались поварам и кухаркам.

Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной, словно хрусталь, воде заливчика бухты, отливавшей изумрудом, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали одного брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазующей публикой.

Над рынком, залитым блеском веселого южного солнца, стоял непрерывный говор толпы. Речь изобиловала неправильностями языка южных городов и звучала мягким тонким малороссийского акцента. Среди этой речи порой выделялось торопливое, громкое и в то же время вкрадчивое сюсюканье продав-

цов рыбы и устриц, халвы и рахат-лукума — этих увлекающихся балаклавских греков, с их смуглыми, мясистыми лицами, горбатыми носами, черными с поволокой глазами, напоминающими крупные маслины, и с быстрыми жестами оголенных мускулистых рук цвета темной бронзы. Слышались и гортанные звуки татар, сидевших на корточках у корзин с грушами, виноградом и яблоками, с выражением горделивого бесстрастия на своих красивых лицах с классическими чертами, напоминающими о чистой арийской крови их предков — генуэзцев и греков, когда-то живших в Крыму. Порой разносились, покрывая говор толпы, отчаянные клятвы «дам рынка» — бойких, задорных торговок-матросок — и их энергичная брань, приправленная самыми великорусскими импровизациями, которым мог бы позавидовать любой боцман, и вызывавшими громкий и сочувственный смех рыночной публики.

Все здесь жило полной жизнью большого и оживленного морского города.

Никто, разумеется, в этой шумной толпе и не предвидел, что скоро Севастополь будет в

развалинах, и что эти прелестные и оживленные бухты опустеют, и на поверхности рейда, где стоит теперь Черноморский флот, будут торчать, словно кресты над могилами, верхушки мачт потопленных кораблей.

В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра, в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи.

— Да ну же, скорей, няня! Ты всегда копаешься! — нетерпеливо и властно говорил мальчик в то время, как низенькая и коренастая Агафья расчесывала, не спеша, его кудрявые, непокорные густые каштановые волосы.

— Ишь ведь, попрыгун!.. Ни минуты не постоит смирно. Всегда торопится точно на пожар, — ворчала няня, любовно поглядывая в то же время на своего любимца. — Да не вертись же, говорят. Так тебя и не причесать. Будешь нечесанный, как уличный мальчишка.

Но мальчик, видимо, не особенно тронутый такими замечаниями и испытывающий неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в рас-

творенное окно врывається струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни и, улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку.

— Дай хоть пригладить вихры, Васенька.

— И так хорошо, няня.

— Нечего сказать: хорошо!.. Адмиральский сын, и торчат вихры. Небось, папенька заметит — не похвалит.

Вася уже не слышал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у закрытых дверей кабинета.

Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти, и в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу для того, чтобы пожелать ему доброго утра, — весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и

обойтись.

«А все-таки нужно», — мысленно проговорил он и, тихо приотворив двери, вошел.

В большом кабинете у письменного стола сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый, высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по старинному, с высоким коком темных, чуть-чуть седеющих волос, который возвышался посредине головы вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой.

Эти колючие «тараканьи» усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня.

— Доброго утра, папенька! — тихо, совсем тихо проговорил дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, слов-

но бы очарованного взгляда, полного того выражения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собой ястреба.

Слыхал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи, — трудно было решить, но он не поворачивал головы.

Так прошло несколько долгих секунд.

А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые раскидистые орешники, не пропускавшие лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался.

А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались.

И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок:

— Доброго утра, папенька!

Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне.

И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то, что адмиралу было шестьдесят лет, живость, энергию и блеск молодости.

— Здравствуй! — отрывисто и резко проговорил адмирал.

И, против обыкновения, вместо того, чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заалевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном:

— Здоров, конечно? Скоро в Одессу... учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай!

Вася не заставил себя ждать.

Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от

какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом с спальней матери, которая, как и сестры, еще спала.

Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахара и бросился в сад.

Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделявших террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой середине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы.

Этот громадный, возвышавшийся террасами сад, выходивший на три улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми паху-

чими цветами, и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города, — этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом, благодаря работе арестантов.

Партия их, человек в двенадцать — пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду.

Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их, —

одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович.

Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил.

Вот к этим людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася.

Несмотря на суровое приказание матери и сестер не только не разговаривать с этими отверженными людьми, но даже и не подходить к ним близко, мальчик весело взбежал с террасы на террасу и окидывал зорким взглядом длинные аллеи, предвкушая удовольствие поболтать с арестантами и попользоваться частью их завтрака — хорошим куском красного сочного арбуза, заедая его, как арестанты, ломтем черного хлеба, круто посыпанного солью. И тем и другим они радушно делились с барчуком, наперебой угощая его.

Он находил этот завтрак самым лучшим на свете — куда вкуснее всяких изысканных блюд, подаваемых у них за обедом, — а в компании этих бритых людей, позвякивающих кандалами, чувствовал себя несравненно приятнее, веселее и свободнее, чем дома, особенно во время обедов, когда все домашние сидели молчаливые и подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового

отца, и с нетерпением ждал конца обеда безмолвный, не смея шевельнуться.

Познакомился он и сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому, что бегал в сад один и что вообще за ним не было никакого надзора. До этого времени он их очень боялся и, забегая в верхний сад, чтобы полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении и обязательно» бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способными на всякие злодеяния, готовыми даже, как уверяла его еще давно няня Агафья, когда он капризничал, унести мальчика и потом его зажарить и съесть, хотя бы он был и адмиральский сын. Эти слова няни в свое время произвели глубокое впечатление на Васю, несмотря на то, что другие лица, как, например, мать, сестры и братья, не заходили в своих обвинениях так далеко. По крайней мере, он ни от кого не слышал подтверждения Агафьиных слов. Но во всяком случае отзывы, которые иногда, как бы мимоходом, бросались при мальчишке об арестантах, не оставляли ни

малейшего сомнения в том, что эти люди совмещают в себе столько пороков, что и не считать, и если бы их выпустить на волю, то они дали бы себя знать! Недаром же им бреют головы и держат в кандалах.

Так однажды говорил старичок генерал, приехавший с визитом к матери Васи, возмущенный по поводу какой-то жалобы, поданной арестантами на то, что их плохо кормят и не дают всего, что им по закону полагается. Этот старичок, прикосновенный, кажется, к делу о растрате арестантских сумм, разумеется, и не думал, что в скором времени, когда Севастополь будет в опасности перед неприятелем, всех этих арестантов выпустят на волю и снимут с них кандалы, они сделаются такими же доблестными защитниками осажденного города, как и остальные.

Все эти рассказы еще сильнее подстрекали любопытство мальчика, и, несмотря на страх, внушаемый ему этими ужасными людьми, он, однако, иногда решался наблюдать их, но, разумеется, на таком расстоянии, чтобы, в случае какой-либо опасности, дать немедленно тягу.

Их разговоры самого мирного характера, долетавшие до ушей Васи, добродушное мурлыканье какой-нибудь песенки во время работы и, наконец, многие другие наблюдения совсем не соответствовали тому представлению об арестантах, которое имел мальчик с чужих слов, и несколько поколебали его веру в справедливость показаний няни Агафьи.

Особенно поразили его два факта.

Однажды весной он увидел, как один из арестантов, пожилой, высокий брюнет с сердитым взглядом больших глубоко сидящих глаз, с нависшими черными всклокоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других, заметив выпавшего из гнезда крошечного воробышка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место, к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чирикавшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова насыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой.

В другой раз арестанты нашли в саду за-

брошенного щенка — маленького, облезлого, худого, и отнесли к нему с большой внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собой, и это решение, видимо, обрадовало всех.

— А то пропадет! — заметил тот же страшный арестант с нависшими бровями. — А я, братцы, за ним ходить буду, заместо, значит, няньки! — прибавил он с веселым смехом.

По соображениям Васи, эти факты во всяком случае свидетельствовали, что и этим страшным людям не чужды проявления добрых чувств.

Для разрешения своих сомнений Вася вскоре обратился к старому денщику-матросу Кириле, бывшему у них в доме одним из лакеев, с вопросом: правда ли, что арестанты уносят мальчиков и потом едят их?

Вместо ответа Кирила, человек вообще солидный, серьезный и даже несколько мрачный, так громко рассмеялся, открывая свой

большой рот, что Вася даже несколько сконфузился, сообразив, что попал впросак, предложивши, видимо, нелепый вопрос.

— Кто это вам сказал, барчук? — спросил наконец Кирила со смехом.

— Няня.

— Набрехала она вам, Василий Лександрыч, вроде хавроньи, а вы взяли да и поверили! Слыханное ли это дело, чтобы, с позволения сказать, ели человеков? Во всем крещеном свете нет такого положения, хоть кого вгодно спросите. Есть, правда, один такой остров, далеко отсюда, за окоянами, где вовсе дикие люди живут, похожие на обезьянов, так те взаправду жрут, черти, человечье мясо. Мне один матрос сказывал, что ходил на дальнюю и везде побывал. Жрут, говорит, и крысу, и всякую насекомую, и змею, и человека, ежели чужой к ним попадетсЯ. Но, окромя этого самого острова, нигде этим не занимаются, чтобы мальчиков есть. А русский человек и подавно на это не согласится. Это вас нянька нарочно пужала. Известно — баба! Не понимает, дурья башка, что брешет дитю! — пренебрежительным тоном прибавил Кири-

ла.

— Да я и не поверил няне. Я сам знаю, что людей не едят! — оправдывался задетый за живое самолюбивый мальчик. — Я так только спросил. И я знаю, что арестанты вовсе не страшные! — прибавил Вася не вполне, однако, уверенным тоном, втайне желая получить на этот счет разъяснения такого знающего человека, каким он считал Кирилу.

— С чего им быть страшными? Такие же люди, как и все мы. Только незадачливые, значит, несчастные люди — вот и все.

— А за что же они, Кирила, попали в арестанты?

— А за разные дела, барчук. Они ведь все из солдат да из матросов... Долго ли до греха при строгой-то службе? Кои и за настоящие, прямо сказать, нехорошие вины... На грабеж пустился или в воровстве попался... Ну, и избывает свой грех... А кои из-за своего непокорного карахтера.

— Как так? — спросил Вася, не понимая Кирилу.

— А так. Не стерпел, значит, утеснения, взбунтовался духом от боя да порки — ну и

сдерзничал начальству на службе, вот и арестантская куртка! А то и за пьянство попасть можно, всяко бывает! Ты и не ждешь, а вдруг очутишься в арестантских ротах.

— За что же?

— А за то, ежели, примерно, нравный человек да напорется на какого-нибудь зверя-командира, который порет безо всякого рассудка и за всякий, можно сказать, пустяк... Терпит-терпит человек, да наконец и не вытерпит, да от обиды в сердцах и нагрубит... Небось, расправа коротка... Проведут сквозь строй... вынесут за мертво и потом в арестанты... И вы, барчук, не верьте, что про них нянька брешет... И бояться их нечего, пренебрегать ими не годится... Их жалеть надо, вот что я вам скажу, барчук.

После таких разъяснений, вполне, казалось, подтверждавших и собственные наблюдения Васи, он значительно меньше стал бояться арестантов, рисковал подходить к ним поближе и вглядывался в эти самые обыкновенные, по большей части добродушные лица, не имеющие в себе ничего злодейского. И они разговаривали, шутили и смеялись точно

так, как и другие люди, а ели, — казалось Васе, — необыкновенно аппетитно и вкусно.

И однажды, когда Вася жадно глядел, как они утром уписывали, запивая водой, ломти черного хлеба, посыпанные солью, — один из арестантов с таким радушием предложил барчуку попробовать «арестантского хлебца», что Вася не отказался и с большим удовольствием съел два ломтя и пробыл в их обществе. И все смотрели на него так доброжелательно, так ласково, все так добродушно говорили с ним, что Вася очень жалел, когда шабаш кончился и арестанты разошлись по работам, приветливо кивая головами своему гостю.

С тех пор между адмиральским сыном и арестантами завязалось прочное знакомство, о котором Вася, разумеется, благоразумно умалчивал, зная, что дома его за это не похвалят. И чем ближе он узнавал их, тем более и более убеждался, что и няня, и мать, и сестры, и старичок генерал решительно заблуждаются, считая их ужасными людьми. Напротив, по мнению Васи, они были славные и добрые, и он только удивлялся, за что таких людей,

которые так усердно работали, так хорошо к нему относились, баловали его самодельными игрушками и так гостеприимно угощали его, за что в самом деле им обрили головы и на ноги надели кандалы, лишив бедных возможности бегать, как бегают он.

Вася со всеми своими новыми знакомыми был в хороших отношениях, но более всего подружился с одним молодым, белокурым, небольшого роста, стройным арестантом, с голубыми ласковыми глазами. Он не знал, за что попал этот человек в арестанты, и не интересовался знать, решив почему-то, что, верно, не за важную вину.

Он чувствовал какую-то особенную привязанность к этому арестанту с задумчивым грустным взглядом и за то, что тот рассказывал отличные сказки, и за то, что он был часто грустен, и за его мягкий ласковый голос, и за его необыкновенно добрую и приятную улыбку, — короче, решительно за все.

Звали его Максимом. Арестанты называли его еще «соловьем», за то, что часто во время работы он пел песни и пел их замечательно хорошо.

Когда мальчик, бывало, слушал его пение, полное беспредельной тоски, невольное чувство бесконечной жалости к этому певцу в кандалах охватывало его маленькое сердце, и к горлу подступали слезы.

И нередко, нервно потрясенный, он убегал.

IV

Вася попал в сад как раз вовремя.

Арестанты только что зашабашили на полчаса и, расположившись, кто кучками, кто в одиночку, в конце одной из аллей под тенью стены, завтракали казенным черным хлебом и купленными на свои копейки арбузами.

Вася подбежал к ним и, веселый, зарумянившийся, полный радости жизни, весело кивал головой в ответ на общие приветствия с добрым утром. С разных сторон раздавались голоса:

— Каково почивали, барчук?

— Нянька не пужала вас?

— Не угодно ли кавуна, барчук?

— У меня добрый кавун!

— Барчук с Максимкой будет завтракать.

Максимка нарочно большой кавун на рынке взял.

— А где же Максим? — спрашивал Вася, ища глазами своего приятеля.

— А вон он, от людей под виноградник забился... Идите к нему, барчук, да прикажите

ему не скучить... А то он опять вовсе заскучил...

— Отчего?

— А спросите его... Видно, не привык еще к нашему арестантскому положению... тоскует, что птица в неволе.

— А вчерась дома еще от унтерцера попало! — вставил чернявый пожилой арестант с нависшими включенными бровями, придававшими его рябоватому лицу несколько свирепый вид.

— За что попало? — поинтересовался Вася.

— А ежели по совести сказать, то вовсе здря... Не заметил Максимка унтерцера и не осторонился, а этот дьявол его в зубы... да раз, да другой... Это хучь кому, а обидно, как вы полагаете, барчук? Еще если бы за дело, а то здря! — объяснил пожилой арестант главную причину обиды.

Вася, и по собственному опыту своей недолгой еще жизни знавший, как обидно, когда, бывало, и его наказывали дома не всегда справедливо, а так, в минуты вспышки гнева отца или дурного расположения матери, поспешил согласиться, что это очень

обидно и что унтер-офицер, побивший Максима, действительно дьявол, которому он охотно бы «начистил морду».

Вызвав последними словами, заимствованными им из арестантского жаргона, одобрительный смех и замечание, что «барчук рассудил правильно», Вася поспешил к своему приятелю Максиму.

— Здравствуй, Максим! — проговорил он, когда залез под виноградник и увидел молодого арестанта, около которого лежали только что нарезанные куски арбуза, и несколько ломтей черного хлеба.

— Доброго утра, паныч! — ответил Максим своим мягким голосом с сильным малороссийским акцентом. — Каково почивали? Попробуйте, какой кавунок добрый... Кушайте на здоровье!.. — прибавил он, подавая Васе кусок арбуза и ломоть хлеба и ласково улыбаясь при этом своими большими грустными глазами. — Я вас дожидался...

— Спасибо, Максим... Я присяду около тебя... Можно?

— Отчего не можно? Садитесь, паныч... Здесь хорошо.

Вася присел и, вынув из кармана несколько кусков сахара и щепотку чая, завернутого в бумажку, подал их арестанту и проговорил:

— Вот возьми... Чаю выпьешь...

— Спасибо, паныч... Добренький вы... Только как бы вам не досталось, что вы сахар да чай из дома уносите.

— Не бойся, Максим, не достанется. И никто не узнает... у нас все спят. Только папенька встал и сидит в кабинете. Да у нас чаю и сахару много! — торопливо объяснял Вася, желая успокоить Максима, и с видимым наслаждением принялся уплетать сочный арбуз, заедая его черным хлебом и не обращая большого внимания на то, что сок заливал его курточку.

Сунув чай и сахар в карман штанов, Максим тоже принялся завтракать.

— Еще, паныч! — проговорил он, заметив, что Вася уже съел один кусок.

— А тебе мало останется? — заметил мальчик, видимо, колебавшийся между желанием съесть еще кусок и не обидеть арестанта.

— Хватит... Да мне что-то и есть не хочется.

— Ну, так я еще съем кусочек.

Скоро арбуз и хлеб были покончены, и тогда Вася спросил:

— А ты что такой невеселый, Максим?

— Веселья немного, паныч, в арестантах.

— В кандалах больно?

— В неволе погано, паныч... И на службе было тошно, а в арестантах еще тошнее.

— Ты был солдатом или матросом?

— Матросом, паныч, в сорок втором экипаже служил... Может, слышали про капитана первого ранга Богатова... Он у нас был командиром корабля «Тартарархов».

— Я его знаю... Он у нас бывает... Такой толстый, с большим пузом...

— Так из-за этого самого человека я и в арестанты попал. Нехай ему на том свете попомнится за то, что он меня несчастным сделал.

— Что ж ты, нагрубил ему?

— То-то... нагрубил... Я, паныч, был матрос тихий, смирный, а он довел меня до затмения... Так сек, что и не дай боже!

— За что же?

— А за все. И винно и безвинно... За флотскую часть. Два раза в гошпитале из-за его ле-

жал... Ну, душа и не стерпела... Назвал его злодеем... Злодей и есть... И засудили меня, паныч. Гоняли сквозь строй, а потом в арестанты... Уж лучше было бы потерпеть... Может, от этого человека избавился и к другому бы попал — не такому злодею. По крайности в матросах все-таки на воле жил... А тут, сами знаете, паныч, какая есть арестантская доля... хоть пропадай с тоски... И всякий может тобой помыкать... Известно — арестант, — прибавил с грустною усмешкой Максим.

Вася, слушавший Максима с глубоким участием, после нескольких секунд раздумья, проговорил с самым решительным видом:

— Так отчего ты, Максим, не убежишь, если тебе так нехорошо?

Радостный огонек блеснул в глазах арестанта при этих словах, и он ответил:

— А вы как думаете?.. Давно убег бы, коли б можно было, паныч... Пошел бы до своей стороны.

— А где твоя сторона?

— В Каменец-Подольской губернии... Может, слыхали — город Проскуров... Так от него верстов десять наша деревня. Поглядел бы на

мать да на батьку и пошел бы за австрийскую границу шукать доли! — продолжал Максим взволнованным шепотом, весь оживившийся и словно бы невольно высказывая свою давно лелеянную заветную мечту о побеге. — Только вы смотрите, паныч, никому не сказывайте насчет того, что я вам говорю, а то меня до смерти засекут! — прибавил Максим и словно бы испугался, что поверил свою тайну барчуку. Долго ли ему разболтать?

Вася торжественно перекрестился и со слезами на глазах объявил, что ни одна душа не узнает о том, что говорил Максим. Он может быть спокоен, что за него Максима не высекут. Хоть он и маленький, а держать слово умеет.

И когда Максим, по-видимому, успокоился этим уверением, Вася, и сам внезапно увлеченный мыслью о побеге Максима за австрийскую границу, о которой, впрочем, имел очень смутное понятие, продолжал таинственно, серьезным тоном заговорщика:

— Ты говоришь, что нельзя убежать, а я думаю, что очень даже легко.

— А как же, паныч? — с ласковою улыбкой

спросил Максим.

— А ты разбей здесь у нас в саду кандалы... Я тебе молоток принесу, а потом перелезть через стену да и беги за австрийскую границу.

Максим печально усмехнулся.

— В арестантской-то одеже? Да меня зараз поймают.

— А ты ночью.

— Ночью с блокшивы не убежешь... Мы за железными запорами, да и часовые пристрелят...

Возбужденное лицо Васи омрачилось... И он печально произнес:

— Значит, так и нельзя убежать?

Арестант не отвечал и как-то напряженно молчал. Казалось, будто какая-то мысль озарила его, и его худое бледное лицо вдруг стало необыкновенно возбужденным, а глаза загорелись огоньком. Он как-то пытливо и тревожно глядел на мальчика, точно хотел проникнуть в его душу, точно хотел что-то сказать и не решался.

— Что ж ты молчишь, Максим? Или боишься, что я тебя выдам? — обиженно промолвил Вася.

— Нет, паныч... Вы не обидите арестанта... В вас душа добрая! — сказал уверенно и серьезно Максим и, словно решившись на что-то очень для него важное, прибавил почти шепотом: — А насчет того, чтобы убежать, так оно можно, только не так, как вы говорите, паныч.

— А как?

— Коли б, примерно, достать платье.

— Какое?

— Женское, скажем, такое, как ваша нянька носит.

— Женское? — повторил мальчик.

— Да, и, примерно, платок бабий на голову... Тогда можно бы убежать!

Вася на секунду задумался и вслед за тем решительно проговорил:

— Я тебе принесу нянино платье и платок.

— Вы принесете... паныч?

От волнения он не мог продолжать и, вдруг схватив руку Васи, прижал ее к губам и покрыл поцелуями.

В ответ Вася крепко поцеловал арестанта.

— Как же вы это сделаете?... А как поймут...

— Не бойся, Максим... Никто не поймает... Я ловко это сделаю, когда все будут спать. Только куда его положить?

— А сюда... под виноградник. Да накройте его листом, чтобы не видно было.

— А то не прикрыть ли землей? Как ты думаешь, Максим? — с серьезным, деловым видом спрашивал Вася.

— Нет, что уж вам трудиться, паныч; довольно и листом. Сюда никто и не заглянет.

— Ну, ладно. А я завтра рано-рано утром все сюда принесу. А то еще лучше ночью... Я не побоюсь ночью в сад идти. Чего бояться?

— Благослови вас боже, милый паныч. Я буду век за вас молиться.

— Эй! На работу! — донесся издали голос конвойного.

— Я еще к тебе прибегу, Максим. Мы ведь больше не увидимся. Завтра тебя не будет! — с грустью в голосе произнес Вася.

С этими словами он пошел в дом.

Целый день Вася находился в возбужденном состоянии, озабоченный предстоящим предприятием. Увлеченный этими мыслями, он даже ни разу не подумал о том, что грозит ему, если отец как-нибудь узнает об его поступке. План похищения нянина платья и молотка, который он вчера видел в комнате, поглотил его всего, и он уже сделал днем рекогносцировку в нянину комнату и увидел, где лежит молоток, и наметил платье, висевшее на гвозде. День этот тянулся для него невыносимо долго. Он то и дело выбегал в сад, озабоченно ходил по аллеям и часто подбегал к Максиму, когда видел его одного. Подбегал и перекидывался таинственными словами.

— Прощай, голубчик Максим... Может быть, завтра уж ты будешь далеко! — проговорил он со слезами на глазах перед тем, как арестанты собирались уходить из сада.

— Прощайте, паныч! — шепнул арестант, взглядывая на мальчика взглядом, полным неопишуемой благодарности.

Арестанты выстроились и ушли, позвякивая кандалами. Вася долго еще провожал их глазами.

По счастью, никто из домашних не обратил внимания на взволнованный вид мальчика. Правда, за обедом отец два раза бросил на него взгляд, от которого Вася замер от страха. Ему показалось, что отец прочел в душе его намерения и вот сейчас крикнет ему: «Я все знаю, негодный мальчишка!»

Но вместо этого отец только спросил:

— Отчего не ешь?

— Я ем, папенька.

— Мало. Надо есть за обедом! — крикнул он.

И Вася, не чувствовавший ни малейшего аппетита, усердно набивал себе рот, втайне обрадованный, что отец ни о чем не догадывается.

К вечеру молоток уже лежал под кроватью Васи. Пошел он в этот день спать ранее обыкновенного, хотя за чайным столом и сидели гости и рассказывали интересные вещи.

Когда он подошел к матери, она взглянула на него и озабоченно спросила, оцупывая его

голову:

— Ты, кажется, болен, Вася?.. У тебя все Лицо горит.

— Я здоров, мама... Устал, верно.

Он поцеловал ее нежную белую руку, простился с сестрами и гостями и, довольный, что отца не было дома и что не нужно было с ним прощаться, побежал в детскую.

— Няня, спать! — крикнул он.

— Что сегодня рано? Или набегался?

— Набегался... устал, няня! — говорил он, стараясь не глядеть ей в глаза и чувствуя некоторое угрызение совести перед человеком, которого собирался ограбить.

Няня раздела его и предложила ему рассказать сказку, но он отказался. Ему спать хочется. Он сейчас заснет.

— Ну, так спи, родной!

Она поцеловала Васю, перекрестила его и хотела было уходить, как Вася вдруг проговорил:

— А знаешь, няня, после моих именин я подарю тебе новое платье.

— Спасибо, голубчик. Что это тебе взбрело на ум, к чему мне платье... У меня и так много

Платьев.

— А сколько?

— Да шесть будет, кроме двух шерстяных.

— А! — удовлетворенно произнес мальчик и прибавил: — Так я тебе, няня, что-нибудь другое подарю... После именин у меня будет много денег...

— Ишь ты, добрый мой... Спасибо на посуле... Ну, спи, спи. И я пойду спать.

Через несколько времени Вася услышал из соседней комнаты храп няни Агафьи.

Нервы его были слишком натянуты, и он не засыпал, решивши не спать до того времени, пока не заснут все в доме и он сможет безопасно пробраться в сад через диванную, тихонько отворив двери в сад, которые обыкновенно запирались на ключ. Мать не услышит, а спальня отца в другом конце дома. Наконец можно выпрыгнуть и из окна — не высоко.

До него доносились звуки корабельных колоколов, каждые полчаса отбивавших склянки. Он слышал монотонное и протяжное «слушай!» перекрикивающихся в отдалении часовых и думал упорно и настойчиво о том, что он не должен заснуть и не заснет, — думал,

как он отворит окно, прислушается, все ли тихо, и как пройдет к няне на цыпочках за платьем, думал о Максиме, как он завтра обрадуется и удерет на австрийскую границу. И ему там будет хорошо, и его никто не поймает. И никто не узнает, что это он, Вася, помог ему убежать. И ему приятно было сознавать, что он будет его спасителем. Эти мысли, бродившие в его возбужденной голове, сменились другими. И он убежит за австрийскую границу, если в пансионе, в Одессе, куда его отвезут в сентябре, будет нехорошо и его будут сечь. Дома сечет отец — он смеет, а другие не смеют! Непременно удерет, разыщет Максима и поселится вместе с ним. Эта мысль казалась ему соблазнительной, но еще соблазнительнее была другая, внезапно пришедшая, — как он уже большим и генералом, после долгого отсутствия, вдруг подъедет на белом красивом коне к дому и как все удивятся, что он генерал. И отец не высечет его — он уж большой, — а будет изумлен, что он такой молодой и уже генерал. А мать, и сестры, и братья — все будут удивлены и все будут поздравлять его. И он расскажет, почему он бе-

жал и как отличился на войне.

«Хо-ро-шо!» — подумал он, потягиваясь и не сознавая ясно, бредит ли он наяву или засыпает.

— Нельзя спать! — прошептал он и тотчас же заснул. Что-то точно толкнуло его в бок, он проснулся и быстро присел на постели, испуганный, что проспал и обманул Максима, и первое мгновение не мог сообразить, сколько теперь времени. Он протер глаза и озирался вокруг. Сквозь белую штору пробивался слабый свет. Слава богу! Еще, кажется, не поздно.

Он вскочил с постели, отдернул штору и взглянул в окно. Только что рассветало, и в саду стоял еще полумрак.

— Пора!

Едва ступая босыми ножонками, пробрался он в комнату няни, взял оттуда платье и платок, лежавший около ее постели, и вернулся к себе. Через несколько секунд он уж был одет, все похищенное свернуто в два полотенца.

Надо было решить вопрос: как пробраться в сад — через окно или идти через комнаты? Тихонько растворив окно, он заглянул вниз и

отвернулся: слишком высоко! Тогда он снял с себя башмаки и в одних чулках вышел за двери.

Сердце его сильно билось, когда он, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался по коридору, мимо комнат сестер, и наконец вошел в диванную. Вот и дверь... Осторожно повернул он ключ... раз, два... раздался шум... Он на минуту замер в страхе и со всех ног пустился в сад, перепрыгивая ступеньки лестниц. Вот и вторая терраска сверху... Стремглав добежав до конца аллеи, он положил платье в указанное место, набросал на него кучу виноградных листьев и побежал домой.

Когда он благополучно вернулся и лег в постель, его трясло точно в лихорадке. Он был бесконечно счастлив и в то же время страшно трусил, что вдруг все откроется и отец прикажет его самого отдать в арестанты.

VI

Проснулся он на другой день поздно. Няня стояла перед ним. Он вспомнил все, что было ночью, и поглядел на нее. Ничего. Она, по обыкновению, ласковая и добрая, — видно, ни о чем не догадывается. На голове ее другой платок.

— Ишь, соня... Заспался сегодня... Вставай, уже девятый час...

Вася быстро поднялся, оделся и позволил сегодня няньке расчесать основательно свои кудри.

— А не видал ты где-нибудь, Васенька, моего платка с головы? Искала, искала — нигде не могла найти, точно сквозь землю провалился! — озабоченно проговорила она, обыскивая Васину кровать.

— Нет, няня, не видал.

— Чудное дело! — прошептала старуха.

— Да ты, няня, не тревожься. Я тебе новый платок куплю.

— Не в том дело... Не жаль платка, да куда он девался?

И когда Вася был готов, няня сказала:

— А папенька сердитый сегодня.

— Отчего?

— У нас, Васенька, беда случилась.

— Беда? Какая беда, няня?

— Один арестант из сада убежал утром.

У Васи радостно забилося сердце. Однако он постарался скрыть свое волнение и с напускным равнодушием спросил:

— Убежал? Как же он убежал?

— То-то и диво. Только что хватились...

Платье свое арестантское оставил и убежал... Все дивуются, — откуда он достал платье... Не голый же ушел... Теперь идет переборка. Всех допрашивает конвойный офицер... И папеньке доложили... Прогневался... Вдруг из губернаторского сада арестант убежал!

Ни жив ни мертв явился Вася в кабинет отца. Действительно, адмирал был не в духе, и в ответ на обычное «здравствуйте, папенька» — только кивнул головой. С облегченным сердцем ушел Вася, убедившись, что отец ничего не знает, и вскоре услышал крики отца, который распекал явившегося к нему с рапортом полицмейстера.

Вася целый день провел в тревоге, ожидая,

что вот-вот его позовут на допрос к отцу.

Но никто его не звал. За обедом отец даже был в духе и соблаговолил сказать адмиральше, высокой, полной, пожилой женщине, сохранившей еще следы былой красоты:

— А ты слышала, что сегодня случилось? Каналья арестант убежал из нашего сада.

— Как же это он мог?

— Арестанты показывают, что у него с собою узелок был, когда их вели с блокшива... Верно, там платье и было... Он переоделся и убежал... Комендант совсем распустил их... Уж я ему говорил... И конвойные плохо смотрят... Ну, да недолго побегает... Сегодня или завтра, верно, поймают... Как проведут сквозь строй, не захочет бегать!

У Васи екнуло сердце. Неужели поймают?

Однако, когда через несколько дней мать спросила отца, поймали ли арестанта, тот сердито отвечал:

— Нет... Словно в воду канул, мерзавец! И никак не могли узнать, откуда он достал платье!

Когда через неделю Вася уже совсем успокоился и вышел утром в сад, пожилой арестант

стант с включенными черными бровями, срезавший гнилые сучья с дерева, таинственно поманил мальчика к себе и, когда тот подошел к нему, осторожно, чтобы никто не видал, сунул ему в руки маленький резной крестик и проговорил:

— Максимка приказал вам передать, барчук.

И, ласково глядя на Васю, прибавил необыкновенно нежным голосом:

— Пошли вам бог всего хорошего, добрый барчук!